



М а ш а

Посвящается С. Т. Аксакову



I

е родись ты пригож, а родись счастлив, говорят, и правду говорят истинную! Меня в молодости красавицею величали, а счастье-то мое какое? Ох, много я извела на своем веку! Муж у меня был буйный, грозный. А сестра из себя невзглядная была и слабая такая, хилая, худенькая, да талан¹ ей бог послал: муж в ней души не чаял, и деточки росли. Бывало как приедет мой хмельной да разбушуется, выгонит меня — хоть на дворе мороз трещи, хоть дождь лей: ему нипочем, не пожалеет, — я подойду к сестриному окошечку, постою, погляжу... Сидит она с мужем, говорят себе любовно, тихо у них да согласно. Слава богу, подумаю, что хоть сестрице моей талан вышел! Бывало и не зайду к ним, не покажусь: что их собою печалить! Ведь догадуются, с какой радости поздним вечером брожу.

И вот сестра-то моя, живучи и в приволье и в любви, все чахла да чахла. Настанет весна, свежая травка пробивается, ручьи журчат, солнышко блещет — людям дышится вольнее, а она сляжет: грудь болит, кашель ее душит... да все еще подержалась бы она, может, на свете,

¹ Талан — счастье, удача.

если бы не помер муж. Ездил он за дровами в ненастье; приехал — захворал да на пятый день богу душу отдал. Схоронила его сестра и сама красного лета не дождалась.

Перед смертью она и говорит мне: «Сестра! вот я умираю, будь же ты в моем дому хозяйка, моим детям мать. И им будет лучше и тебе веселее: ведь и ты сиротеешь одинокою».

А я тогда уж вдовой была.

Распродала я кой-какие пожитки свои, да и перешла к сестриным детям. После нее двое осталось: сынок и дочка. Сын по десятому году остался, дочка по четвертому. Добрые были деточки, спасибо им! Отроду мне виду косога не показали, слова грубого не слыхала от них, покоили меня, почитали.

Взрастила я их, взлелеяла, и стали они мне что родные дети.

II

Брат и сестра, а не схожи были нравом, уж как не схожи! Федя был мальчик веселый, смиренный, покорный, а Маша уж такая своеобразливая, такая быстрая, пытливая! Бывало скажешь Феде: «Федя, голубчик, не делай того или другого, не ходи куды, не говори чего», он покорится охотно: не надо так и не надо! — и другим себе займется. А Маша допытываться станет: да отчего? да почему? И свои доводы у ней найдутся, да еще, случается, и меня-то, старуху, с толку собьет, что я виновата выйду, а она права. И ко всему-то Маша прислушивается, все замечает, все проведает; что ты ни спроси — все слышала, все знает, да еще и обсудит своим умишком детским. Что это за душа у ней была зарная¹, живая, неукротимая! Что бывало задумала — уж сделает; захотела чему научиться — научится. Ну вот хоть примерно сказать: пожелалось ей кружево плести. «Где тебе, Маша, — говорю ей, — ручки-то у тебя какие?» А ей всего седьмой годок пошел. Она все просит: покажите, научите! Я показала ей. Сидела моя девочка почитай что с неделю,

¹ З а р н а я — пылкая, озаренная, яркая, как зарница.

путала, просто не ела, не пила, пока не выучилась. Подходит, мне показывает, а глазенки-то так и сияют, так и бегают. Я беру, усмехаючись, глянула — диву далась: ведь выплела кружево ровно, славно. И вот так-то во всем бывало своего добьется. А с виду тихая и неречистая.

Вот пошел Маше седьмой годок. Случись мне с Федей в город поехать, того-другого припасти надо было; еду да и наказываю Маше: «Смотри, Маша, никуда не отлучись из дому; жди нас, гостинца привезем». Она обещалась. А слово у нее, даром что детское, да верное, — я спокойно себе отъехала.

Пока мы огляделись, пока закупили, воротились домой поздним вечером. В избу вошли — Маша не встречает. Окликаем ее — тихо, нету. Подождали — все нету. Пошел Федя к соседям, спросил. А соседи рассказывают: «Маша ваша все сидела подле своей избы на завалинке, с нашими ребятишками играла; а тут барыня проходила деревней, остановилась, посмотрела и спрашивает у вашей Маши: «Что это ты так расшумелась? (А они тогда в коршуна играли.) Свою барыню знаешь? Чья ты?» Маша оробела, что ли, не ответила, а барыня-то ее выбранила: «Дура растешь, не умеешь говорить!» Маша так и сгорела вся и заплакала, а барыне жалко, верно, стало. «Поди сюда, дурочка, поди ко мне! — говорит. — Что смотришь исподлобья? Поди, поклонись барыне!» Да видит, что Маша не идет. «Подведите ее ко мне!» — приказывает ребятишкам. Маша как бросится бежать — и не догнали. После мы ее и не видали, не выходила на улицу. А барыня старосте говорила: «Что ты таких девчонок не посылаешь хоть в саду дорожки чистить? Ты посылай».

Пришел Федя, рассказал мне; дрогнуло у меня сердце. «Где же это Маша делась?» — думаю.

А Федя сам не свой: крепко он сестренку любил.

Ждали мы, ждали, думали, думали, да и пошли ее искать, всю деревню обошли, окликаем ее потихоньку — нет как нет!

Идем уж домой огородами соседскими, конопляниками. Вдруг как бросится к нам Маша!

Схватили мы ее на руки, поцеловали крепко: слава богу, жива, нашлась!

III

— Пойдем домой, Маша! — говорю; не поминаю ей, что она напроказила, вижу — девочка перепугана.

— Да я тебя на руках донесу, Маша! — говорит Федя, радостный такой.

Маша все обнимала нас, а тут стала вырываться.

— Пойдем домой, Маша!

Упирается:

— Не пойду.

Мы ее уговаривать.

— Не пойду, не пойду... меня барыня возьмет!.. — Да давай прижиматься ко мне, проситься: — Не отдавайте меня ей! Спрячьте меня!

— Не бойся, родненькая, не бойся! Это тебя пострашали только.

Кое-как уговорила ее, привела домой, успокоила, да тогда уж и говорю ей:

— Маша, чего ты барыне-то не ответила? Нехорошо, дитятко!

Так она и вспыхнула вся.

— Не маленькая ты, Маша! — все увещаю. — Знаешь, чай, что барыне покориться надо; хоть она и сурово прикажет — слушаться надо.

— А если не послушаешься? — промолвила Маша.

— Тогда горя не оберешься, голубчик! — говорю. — Любо разве кару-то принимать?

А Федя даже смутился, смотрит на сестру во все глаза.

— Убежать можно, — говорит Маша, — убежать далеко... Вот тростянские летось бежали.

— Ну и поймали их, Маша... а которые на дороге померли!

— А пойманных-то в острог посадили, распинали всячески, — говорит Федя.

— Натерпелись они и стыда и горя, дитятко!

Я говорю, а Маша все свое:

— Да чего все за барыню так стоят?

— Она барыня, — толкуем ей, — ей права даны, у ней казна есть... так уж ведется...

— Вот что! — сказала девочка. — А за нас-то кто ж стоит?

Мы с Федей переглянулись: что это на нее нашло?
— Неразумная ты головка, дитятко! — говорю.
— Да кто ж за нас? — твердит.
— Сами мы за себя да бог за нас! — отвечаю ей.

IV

С той поры только и речи у Маши, что про барыню. «И кто ей отдал нас? и как? и зачем? и когда? Барыня одна, — говорит, — а нас-то сколько! Пошли б себе от нее куда захотели, что она сделает?» Откуда у ней такие мысли брались, что впору только старому человеку подумать! Отгонишь ее: «Полно тебе, Маша, молоть!» Она себе сядет, задумается, да иной раз, подпершись ручкой, так долго-долго сидит, думает...

Вдруг одним утром к нам староста на двор. Маша завидела его, побелела и отбежала в уголок. Вошел и кличет Машу на работу. «Иди, — говорит, — на барщину, красная девушка!»

Шуткою хотел развеселить нас, что ли, — добрый был человек, покойник, — да видит, что мы головы повесили, и сам вздохнул.

— На меня не пеняйте, — молвил. — Я сам человек подневольный!

— Иди, Маша, — говорю.

А на Маше лица нет. Крепко уцепилась за лавку ручонками.

— Не пойду, — шепчет, — не пойду!

Мы ее уговаривать, усовещивать:

— Через тебя и нам достанется!

А у нее одно слово ответное:

— Не пойду!

Что с ней сделаешь! И жалко ее укорять-то: девочка совсем потерялась.

Мы отговорились: больна Маша.

Ведь доля-то наша такая, что порою поневоле слушаешь! Горькая доля, скажу вам!

Надеялась я, что ласкою ее ублажу, и все тихонько уговаривала. Не слушается девочка!

Прошел год, другой, третий... Уж сколько мы хлопот, сколько горя набрались с этой Машей! Полоть ли огороды барские кличут, по ягоды господам посылают. «Не

могу, — говорит Маша, — я больна!» А барыня ее помнила и все бывало спрашивает:

— Отчего нет на работе Ивановой Машки? Больна? Чем это больна? Приведите, я посмотрю ее сама.

И водили к ней Машу сколько раз.

— Чем больна?

— Все болит!

Барыня побранит, погрозит и прогонит ее.

— Чтоб была завтра на работе! — прикажет. — Слышишь?

— Слышу, — ответит Маша, а не пойдет и завтра.

Стала барыня очень гневаться и за нас с Федей принималась, что мы Маше потакаем.

А мы сами тому не рады; сами ее увещаем — иди! Один раз грех-то был, что мы слукавили; кто ж ее знал, что за это уцепится. Стоило только Маше поклониться, попроситься — барыня ее отпустила бы сама, да не такая была Маша наша. Она бывало и глаз-то на барыню не поднимет, и голос-то глухо звучит; а ведь известен нрав барский: ты обмани — да поклонись низко, ты злой человек — да почтителен будь, просися, молися: ваша, мол, власть казнить и миловать, простите! — и все тебе простится; а чуть возмутился сердцем, слово горькое сорвалось — будь ты и правдив и честен, милости над тобою не будет: ты грубиян! Барыня наша за добрую, за жалостливую слыла, а ведь как она Машу принимала!

— Погодите, — бывало на нас грозитя, — я вас всех проучу!

Хоть она и не карала еще, да с такими посулками¹ время невесело шло.

V

— Вот, Маша, — говорит Федя, — какая у тебя совесть-то! Нипочем тебе в глаза неправду говорить. Чем ты больна? Только бога гневишь! Я ведь вижу, как ты по вечерам танки-то² водишь. До барыни, думаешь, не

¹ Посулки — то же, что посулы — обещания; здесь — в смысле угрозы.

² Танки — танцы, хороводы.

дойдет? Нехорошо, что ты нас под барский гнев подводишь!

Махнул Федя рукой, да и замолчал. А Маша вспыхнула, вздрогнула, а сказать ничего не сказала. Только с той поры она не идет на улицу. Ну, думаю, не долго она посидит — соскучится! Проходит неделя, проходит месяц — она все дома, только, припавши к окошечку, смотрит, как другие гуляют. А у нас в погожий вечер на улицу сберутся и девушки и ребяташки сбегутся — тут пойдут игры разные, беготня, песни. Иной раз подумаешь — тонко звенящими колокольчиками полна целая улица! Так и разливается веселый смех молодой, то писк слышен, то плач ребятчий. Вышла молодуха унять озорников и все покрыла своим голосом звонким, строгим. А Маша тоскливо прислушивается, отклик всякий, всякое слово ловит, и сама она не замечает, как слеза сбежит горячая. Жду-пожду, что вот она попросится, — нет, видно, не дождешься! Совестится, думаю, девочка, дай уж я выручу ее.

— Маша, — говорю, — чего не пойдешь, не погуляешь, дитяtko? Пойди-ка развейся немножко.

Сама гляжу на нее: вот обрадуется! А она мне этак спокойно отвечает:

— Нет, — говорит, — я не пойду.

— Да что ты, Маша? Морочишь меня, что ли?

— Не пойду, — опять проговорила, а сама и бровью не шевельнет.

— На меня, что ли, сердисься? — спрашивает Федя. — Ты лучше позабудь, — просит ее, — барыня крепко меня донимала за тебя, так я упрекнул... Самому, видишь, горько стало. Не сердись, Маша, поди на улицу!

— Я, — отвечает, — Федя, не сердита, только ты не упрашивай меня понапрасну — не пойду.

И не раз мы ее уговаривали, просили, как просили-то!

— Не пойду!

VI

Не на шутку я стала тревожиться. Сидит она целый день задумавшись, и слова от нее не добыешься... худеть стала.

— Полечить ее надо, Федя, — говорю, — надо дерновской лекарке поклониться.

А на Дерновке лекарка была умная, знающая. Как услыхала об этом Маша:

— Тетушка, — говорит, — милая, не лечите вы меня — не вылечите!

Что ее слушать, думаю, и таки послала Федю на Дерновку.

Привез он лекарку; осмотрела она Машу.

— Недуг ее, видно, от тоски больше, — говорит. Поглядела на всех нас. — Кажись, обижать ее у вас некому, на зазнобушку сердечную еще пора не пришла... не сглазу ли?.. Расскажите-ка мне, что вы сами думаете.

— Не знаем, голубушка, — говорю. Побоялась признаться, что барский глаз сглазил...

— Эх, родные, уж вы не потаите, правду мне скажите, я вас не выдам.

Так она добродушно это сказала, что я ей и призналась: так вот и так, на барыню я думаю.

— Бывает, родная, бывает, — промолвила старушка. — С той поры неможешь, касатка? — у Маши спрашивает.

А Маша не то усмехнулась, не то помрачилась.

— С той поры! — ответила.

Покачала головой лекарка и еще пристальнее поглядела на Машу и опять головой покачала. Умыла ее и травку какую-то дала.

— Ты травку пей-таки до восходу солнечного.

Провожая я старушку, да и спрашиваю:

— Что, голубушка, чем утетишь меня?

— Да как бог даст! — говорит. — От девочки не добьешься ничего, словно она сама свой недуг-то голубит!

VII

Пристала я к Маше: пей да пей травку!

Скрепя сердце пила она; ну, а помощи не было: изводится просто девочка... целую зиму мы с ней горевали. С весною, с теплом, словно полегшило; цветней стала¹, в рост пошла. Дивно только мне, что все она будто сонная целый день ходит. Молчу пока да замечаю. Там уж так

¹ Цветней стала — расцвела, стала румяней.

пошло, что где она ни присядет, там сейчас и заснет. Беспokoилась я этим, да вижу: девочка все краше да краше, — может, думаю, это недуг выходит, и все молчу себе..

Вот одной ночью — звездно, тепло было — немоглось мне, и я не спала. И вижу: вскочила моя Маша, постояла, прислушалась — все тихо, и выскользнула в дверь. Сердце у меня забилося... жду, жду — долго ее нету... Не утерпела я, вышла. На дворе пусто — где она? Да гляжу на огород, а по огороду что-то белое так и носится, так и вьется... Перепугалась я до смерти.

— Маша! Маша! — закричала.

Она как ахнет и словно обмерла. Я к ней:

— Что ты тут делаешь?

Схватила ее за руку, привела в избу, Федю разбудила, лучину засветила, смотрю на нее, а она белая-белая стоит. Стали мы допрашивать, укорять; у ней слезы градом:

— Не воспрещайте, родные! Я ведь словно в неволе сижу! Тяжело мне. Часто не спится по ночам; я как выйду, погуляю — полегчает. Никто того не знает, не ведает — беды вам никакой не будет, а мне-то хоть ночью на свет божий поглядеть, хоть дохнуть вольно!..

Речь ее такая живая, торопливая, слезы сыплются.

— Бог с тобою, Маша! — говорю. — Жить бы тебе, как люди живут. Отбыла барщину, да и не боишься ничего. А то вот по ночам бродишь, а днем показаться за ворота не смеешь.

— Не могу, — шепчет, — не могу! Вы хоть убейте меня — не хочу!

А Федя только приговаривает:

— Быть беде!

Убеждать, уговаривать, а она нас не словами — горячими слезами молит.

VIII

Ну, мы и не стали перечить — видим, ее не переупрямишь. Страшно еще, чтоб чего над собой не сотворила — от нее все станется! И каждую ночь бывало гуляет она. Я нарочно подкрадусь, смотрю — то сядет она, посидит, то встанет, походит, и дохнет так вольно, глубоко. Уж

пускай мне господь простит за то, что я ее покрывала! Жалка она моему сердцу-то ведь как была!

Стали мы свыкаться с ее чудесами, со своим горем. Думали, надеялись, что в лета войдет — образумится. Года-то шли, уходили, а утешения нам не было!

На шестнадцатом году как расцвела Маша! Высокая, статная, белая, как кипень¹, уста алые, глаза ясные, брови дугой — красавица! И хороша и молода, а как бывало мне на нее глядеть-то горько! Что за жизнь ее? Ни утехи, ни радости!

— Ох, Маша, моя рódная! — говорю ей. — Если б тебя господь от тоски твоей помиловал! Зажилось-то б как весело! Замуж бы ты пошла.

— Что ж замужем-то! Одинаково! — отвечает.

— Не прогневи ты бога, Маша! Что это ты на себя накликаешь? Ты молись да надейся, бог счастье-талан пошлет.

— Какое счастье! — сказала да горько так усмехнулась.

— Ах, Маша! — говорю. — Да я вот целый век горевала, а все людскому счастью верю, а ты еще недавно из пеленок вышла: тебе ли решать, моя желанная! Есть счастье...

— Есть, — перебила, — да не про нашу честь! — и опять усмегается.

— В божьей воле, дитяtko! Вот твоя мать-покойница нешто не была счастлива?

— То она, — говорит, — а то я...

Слушая такие речи, и Федя стал задумываться, пригорюнился.

IX

На ту пору барыня как-то запомнила² про Машу или уж ей самой надоело ее мучить, нам жилось поспокойнее. Изредка зайдет кто из соседей или из деревни девушка к Маше забежит проведать ее, и дивуются³ все, что болеет Маша, а цветет, как маков цвет. И стали ходить по селу слухи разные: одни говорят, что притворяется Маша, ра-

¹ Кипень — белая пена от кипения.

² Запомнить — здесь: забыть, запомнить.

³ Дивоваться — дивиться, смотреть с удивлением.

ботать господам ленива, а другие — что тут замешалась недобрая сила. Ох, не раз и мне самой приходило это в голову; только молось бывало заступнице — заступи!

Плачу я бывало:

— Вот, Маша, что люди про тебя говорят.

Она молчит, словно не к ней речь.

— Что ж, дитятко? Тебе, кажись, все нипочем?

— Тетушка, — промолвила, — есть у меня, может, кручина потяжелей!

А какая — не сказала.

А по деревне ропот: «Мы весь век свой на барщине; уж наши косточки болят, у нас дети калечатся, некому приглядеть — и старый и малый на работе, а вот Марья дома нежится — что ж мудреного, что краше ее на деревне нету! Белоручки-то всегда пригожи!» А Маша хоть тосковала, а свежая и пышная такая была! И кричат: «Что это за болезнь такая, что не сушит, а красит?»

И до барыни этот ропот дошел.

Есть ведь такие люди на свете, что как только им жутко приходится, они и другого под беду норовят: словно им от чужого горя легче станет.

Барыня опять вскинулась на Машу, послала за нею: «Явись сейчас!» — «Не могу, — говорит Маша, — я больна!» Велела Машу силою вести. Повели ее. Барыня ее встречает — бранит, корит, сама ей серп в руки дает да глазами на нее сверкает. «Выжни мне траву в цветнике! — и стала над нею. — Жни!» Маша как взмахнула серпом — прямо себе по руке угодила; кровь брызнула, барыня вскрикнула, испугалась: «Ведите ее, ведите домой скорей! Натя платочек — руку перевяжите!»

Привели Машу — господи, сумрачная какая! Сорвала с руки барский платочек и далеко от себя отбросила.

— Маша, — говорит ей Федя, — не след тебе барыню так гневить... Если б это трущовская, ведь давно со свету сжила бы.

Маша ничего на братнины слова, только у ней ярче глаза блестят.

— Сердита на тебя, — уговаривает все Федя, — а платочек свой дала, примочку сейчас прислала — пожалела тебя...

— Да, — промолвила Маша, — пожалела! Они, Федя, господа-то твои добрые, что и говорить, они в головку целуют, да...

Вздروгнули мы, услышавши слова такие.

Х

Вижу я, Федя себе затосковал крепко: где ласковость прежняя, добродушие веселое! Ходит угрюмый; все ему не по нраву, все не по нем; от работы отбился.

— Что, Федя? Что, голубчик? — спрашиваю.

— Да что, тетушка, тоска меня одолевает, просто свет белый не мил!

— Чего тоскуешь-то, Федя? Тебе ли тосковать? Ты ли не молод, не пригож?

— Правду, тетушка, Маша говорит: горемычное наше житье!

— Что ж, Федя, слезами моря не наполнить!

— Да и слез-то не уймешь, — ответил.

Думала я, думала, чем бы горю помочь, да и надумала.

— Федя, — говорю, — пора тебе жениться, давно пора, дружок. Коли тебе свои девушки не по сердцу, поехал бы ты на Дерновку, поглядел — там невесты славные!

— Дерновские все вольные, — отозвалась Маша.

— Что ж, что вольные? — говорю. — Разве вольные не выходят за барских? Лишь бы только им жених наш приглянулся.

— Если б я вольная была, — заговорила Маша, а сама так и задрожала, — я б, — говорит, — лучше на плаху головою!..

— Уж очень ты барских-то обижаешь, Маша! — проговорил Федя и в лице изменился. — Они тоже ведь люди божи, только что несчастные!

Да и вышел с тем словом.

— Маша, — говорю, — дитятко! Что ты ему все в уши жужжишь, запечалила ты его...

— Есть у Феде свои глаза, свои уши, тетушка; сам он свою беду узнает. А ты-то, тетушка, будто не плачешься на свою судьбу? Сладко тебе живется, что ли?

— Эх, дитятко, поплакала, погоревала я на своем ве-

ку — будет с меня! Я уж ни за чем не гонюсь, стара уж я, немощна. Мне б только уголок теплый да хлеба кусок — и довольная я! Не сокрушайся, — говорю, — моя желанная! Что пособишь-то? Разве что веку своего не доживешь!

— Да хоть и умру, — промолвила. — Что тут-то мне, на свете-то?

Тоскливо так поглядела и руки заломила.

Поди сговори с нею! Ты ее развеселить хочешь, а она тебя скорей запечалит.

XI

А Федя все сумрачней да угрюмей, а Маша в глазах у меня тает... слегла... Один раз я сижу подле нее — она задумалась крепко; вдруг входит Федя бодро так, весело. «Здравствуйте!» — говорит. Я-то обрадовалась: «Здравствуй, здравствуй, голубчик!» Маша только взглянула — чего, мол, веселье такое?

— Маша! — говорит Федя. — Ты умирать собираешься — молода еще, видно, ты умирать-то!

Сам посмеивается. Маша молчит.

— Да ты очнись, сестрица, да прислушайся! Я тебе весточку принес.

— Бог с тобою и с весточкой! — ответила. — Ты себе веселись, Федя, а мне покой дай.

— Какая весточка, Федя, скажи мне? — спрашиваю.

— Услышишь, тетушка милая! — и обнял меня крепко-крепко и поцеловал. — Очнись, Маша! — за руку Машу схватил и приподнял ее. — Барыня объявила нам: кто хочет откупаться на волю — откупайся!

Как вскрикнет Маша, как бросится брату в ноги! Целует и слезами обливает, дрожит вся, голос у ней обрывается:

— Откупи меня, родной, откупи! Благослови тебя господи, милый мой! Откупи меня! Господи! помоги же нам, помоги!

Федя-то сам рекою разливается, а у меня сердце покатилося — стою, смотрю на них.

— Погоди ж, Маша, — проговорил Федя, — дай опомниться-то! Обсудить, обдумать надо хорошенько!

— Не надо, Федя! Откупайся скорей... скорей, братец милый!

— Помехи еще есть, Маша, — я вступилась, — придется продать, почитай, последнее. Как, чем кормиться-то будем?

— Я буду работать, братец! Безустанно буду работать! Я выпрошу, выплачу у людей! Я закабалюсь куды хочешь, только выкупи ты меня, родной мой, выкупи! Я ведь изныла вся! Я дня веселого, сна спокойного не знала! Пожалей ты моей юности! Я ведь не живу — я томлюсь! Ох, выкупи меня, выкупи! Иди, иди к ней...

Одевает его, торопит, сама молит-рыдает! Я и не опомнилась, как она его выпроводила. Сама по избе ходит, руки ломает. И мое сердце трепещет, словно в молодости, — вот что затевается! Трудно мне было сообразиться, еще труднее успокоиться.

Ждем мы Федю, ждем не дождемся! Как увидела его Маша, горько заплакала, а он нам еще издали кричит: «Слава богу!»

Маша так и упала на лавку, долго, долго еще плакала... Мы унимать.

— Пускай поплачу, — говорит, — не тревожьте; сладко мне и люблю, словно я на свет божий нарождаюсь сызнову! Теперь мне работу давайте. Я здорова... Я сильная какая, если б вы знали!

XII

Вот и откупились мы. Избу, всё продали. Жалко мне было покидать, и Феде сгрустнулось: садил, растил — всё прощай! Только Маша веселая и бодрая — слезки она не выронила. Какое! Словно она из живой воды вышла — в глазах блеск, на лице румянец; кажется, что каждая жилка радостью дрожит... Дело так и кипит у нее... «Отдохни, Маша!» — «Отдыхать? Я работать хочу!» — и засмеется весело. Тогда я впервые узнала, что за смех у нее звонкий. То Маша белоручкой слыла, а теперь Машу первой рукодельницей, первой работницей величают. И женихи к нам толпой.

А барыня-то гневалась — боже мой! Соседи смеются: «Холопка глупая вас отуманила! Она нарочно больною

притворилась. Ведь вы, небось, даром почти ее отпустили?» Барыня и вправду Машей не дорожилась.

Поселились мы в избушке ветхой, в городе, да трудиться стали. Бог нам помог, мы и новую избу срубили. Федя женился, Маша замуж пошла. Свекровь в ней души не слышит: «Она меня словно дочь родная утешает; что это за веселая, что за работающая! Больна с той поры не бывала».

Федю тоже бог благословил: живет с женою согласно, и я при них живу, детушек нянчу. Два сынишка у него, такие живчики¹.

¹ Живчик — подвижной, живой.

